

18+

Мария Орлова

РЕЖУЩАЯ КРОМКА

18+

Мария Орлова

Режущая кромка

«Издательские решения»

Орлова М.

Режущая кромка / М. Орлова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-701662-9

Сорок пять осколков. Сорок пять граней страха. Вход только для тех, кто готов смотреть в лицо тьме. «Режущая кромка» — сборник мистических рассказов, после которых вы перестанете доверять тишине, отражениям и даже собственному дыханию. Не читайте на ночь. И не говорите, что вас не предупреждали.

ISBN 978-5-00-701662-9

© Орлова М.
© Издательские решения

Содержание

Осколок первый. Отражение	6
Осколок второй. Часы с чердака	7
Осколок третий. Глубина	9
Осколок четвёртый. Тропа	11
Осколок пятый. Книга теней	13
Осколок шестой. Кукла	15
Осколок седьмой. Ночной рейс	18
Осколок восьмой. Детская считалка	22
Осколок девятый. Тени на фотоплёнке	25
Осколок десятый. Звонок из 1999 года	27
Осколок одиннадцатый. Странный лифт	29
Осколок двенадцатый. Тот, кто стучится в стену	31
Осколок тринадцатый. Часы, которые шли назад	32
Осколок четырнадцатый. Лодка, которая помнила	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Режущая кромка

Мария Орлова

Дизайнер обложки Анатолий Игнатов

© Мария Орлова, 2026

© Анатолий Игнатов, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-1662-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Осколок первый. Отражение

Она купила старинное зеркало на блошином рынке в пасмурную субботу. Продавец — старик с жёлтыми ногтями и безразличными глазами — просто назвал цену, не поднимая головы. В углу рамы была трещина, похожая на паучью лапку, и почему-то ей это показалось милым и она забрала зеркало без торга. Дома поставила его в спальне напротив кровати, металлическая рама была холодной, даже когда включили отопление. Первое странное — запах. Сначала подумала, что от старых обоев или сырого паркета, но запах мокрой земли пробивался через духи и освежители. Он появлялся ночью, к утру пропадал, оставляя липкое чувство на нёбе.

На вторую ночь ей приснилось, что она стоит перед зеркалом, а отражение не повторяет её движений — просто смотрит. Она проснулась в холодном поту и, сама не понимая почему, подошла к зеркалу. Всё было как обычно — её лицо, усталые глаза, распущенные волосы. Она вздохнула с облегчением и легла обратно, но уснуть не смогла. Казалось, кто-то дышит с той стороны стекла. Третью ночь она заметила, что отражение моргнуло с небольшой задержкой. Она проверила — закрыла глаза, открыла, и зеркало повторило, но чуть позже. Как будто отражению нужно было время понять: «Ах да, я должна быть ею».

Она уже собиралась разбить зеркало, поднимая тяжёлую кочергу, но остановилась — в отражении за её спиной исчезли окна. Там была чёрная пустота, бесконечная, без звёзд. Двойник улыбался, но не так, как она — чужой улыбкой, как маской. Она попыталась отойти, но ноги не поддались. Пола не чувствовала, только холод, будто корни опутали лодыжки и тянули вниз, в пустоту. В тишине послышался шорох. Тысячи насекомых ползли по обратной стороне стекла, и она слышала, как их лапки царапают стекло. Звук становился всё громче и плотнее.

Двойник улыбнулся шире. Трещина в раме углубилась, раскалывая металл с сухим хрустом. Из неё потекла тёмная жидкость — густая, блестящая, пахнувшая ржавчиной и каким-то сладким, противным запахом.

«Это не я», — прошептала она. Но губы в зеркале шевелились вместе с её словами. Впервые они совпали. И это было страшнее всего. Когда зеркало разбилось, осколки не упали. Они зависли в воздухе — десятки лезвий, мерцавших в тусклом свете ночника. Она зажмурилась, ожидая удара. Но удара не было. Потом она увидела «себя» со стороны.

Она стояла в комнате — настоящая. Но рядом было ещё одно «я», прижатое к стеклу изнутри, лицом к пустоте. Рот двойника был открыт в беззвучном крике, руки царапали невидимую стену. Их взгляды встретились. Она поняла — поменяться местами можно было быстро. Достаточно одного моргания, одной секунды невнимания.

Она медленно подняла руку и коснулась холодного стекла. Двойник повторил жест и улыбнулся в последний раз.

Эпилог

Когда я покупал квартиру, приятно удивился, увидев в одной из комнат большое красивая зеркало в тяжёлой раме. Единственный минус — трещина в углу, похожая на паучью лапку.

Агент сказал, что предыдущая хозяйка «переехала за город». Я не стал уточнять. Зеркало решил оставить — оно добавляет комнате характер. Иногда по ночам кажется, что отражение моргает с небольшой задержкой. Но, наверное, это просто усталость...

Осколок второй. Часы с чердака

Он наткнулся на них в сундуке, под стопкой пожелтевших писем: карманные часы, на циферблате которых вместо цифр были выгравированы какие-то непонятные знаки. Металл оказался холодным — слишком холодным для вещи, пролежавшей там десятилетия. Он сунул часы в карман куртки и вспомнил о них только ночью.

Ровно в полночь стрелки пошли назад. Не дёргаясь и не скрипя — плавно, будто время само решило потечь в обратную сторону. Изнутри послышался шёпот: тонкий, быстрый, как если бы кто-то торопливо отсчитывал секунды на забытом языке. Он вслушался, пытаясь поймать слова, но звук ускользал, оставляя после себя только липкую тревогу. На вторую ночь он проснулся от того, что часы лежали у него на груди. Он точно не клал их туда. Они были ледяными и тяжёлыми — непривычно тяжёлыми для такой мелочи. Он сбросил их на пол, а через минуту обнаружил на подушке. Часы возвращались. На третью ночь тени в комнате перестали совпадать с вещами. Они замирали в позах, которых он не принимал: одна — в углу, с коленями, подтянутыми к подбородку, другая — у двери, с вытянутой рукой, будто кого-то звала. Он щёлкнул выключателем — тени дёрнулись и стали обычными. Стоило погасить свет, и они снова занимали свои чужие положения.

Проснувшись около четырёх утра, он увидел: часы опять лежат у него на груди. На запястье проступил синяк — отчётливый, багровый отпечаток ладони, словно кто-то держал его руку сжатой несколько часов подряд. В ванной, в зеркале, на миг мелькнул силуэт: старик в потёртом сюртуке стоял у него за спиной и не отрываясь смотрел на свои часы — на те самые, что сейчас лежали на раковине. Он резко обернулся. За спиной никого, только белая плитка и собственное отражение, которое почему-то улыбалось на секунду дольше, чем нужно.

К утру все окна в доме затянуло инеем. На улице был август — листья ещё зелёные, — а стёкла покрылись узорами, будто ударил тридцатиградусный мороз. Он попытался соскрести лёд ногтем, но под ногтем осталась не вода, а тонкая серая пыль, похожая на пепел. На стенах проявились трещины. Они складывались в тот же рисунок, что и на циферблате — те самые знаки, которые он сначала принял за простую декоративную гравировку. Трещины росли с каждым часом, тянулись от пола к потолку, от угла к углу, и постепенно образовали фразу на языке, которого он не знал, но почему-то понимал: «Ты завёл нас — теперь мы заведём тебя». Он схватил молоток и попытался разбить часы. Размахнулся, ударил изо всех сил. Металл ответил странным звуком — не звоном и не хрустом, чем-то между смешком и всхлипом. Стрелки замерли ровно на секунду перед ударом, а потом снова поплыли обратно. Он ударил ещё. И ещё. Молоток выскользнул из мокрой ладони и глухо упал на пол. Часы лежали рядом — целые, как ни в чём не бывало.

В пять утра он зачем-то открыл семейный альбом. Фотографии менялись прямо у него на глазах: кадры, где он был ребёнком, будто состарились — на его месте сидел седой старик с его же лицом. Листая дальше, он старел всё быстрее, и на последнем снимке вместо него остался только пустой костюм на спинке стула — и карманные часы на груди.

Когда часы, наконец, остановились — не сломались, а просто замерли, словно устали, — тишину пререзал колокольный звон. Низкий, тягучий, тот самый, из разрушенной городской колокольни тридцать лет назад. Его слышали все соседи, но утром никто так и не понял, откуда взялся этот звук. Он поднял глаза от циферблата и увидел, как стены комнаты медленно складываются, как страницы книги. Обои съезжали вниз ровными полотнами, штукатурка осыпалась хлопьями, обнажая кирпич, а на месте двери теперь висело зеркало.

В зеркале стоял старик в сюртуке. Он заводил часы — его пальцами. Своими пальцами. Те самые часы, что сейчас лежали у него на груди. Он хотел закричать, но старик в зеркале открыл рот раньше...

Эпилог

— Мам, пап! — верещал мальчик лет семи, слетая с чердака. — Смотрите, что я нашёл в старом сундуке! Наверное, они дорогие!

В руках он держал карманные часы с циферблатом, где вместо цифр были выгравированы непонятные символы...

Осколок третий. Глубина

Она переехала в дом у озера, чтобы забыть. Риелтор сказал, что место тихое, уединённое — идеально для новой жизни. Он не сказал только одного: вода здесь никогда не замерзала, даже в лютый мороз. Зимой пар поднимался над озером, густой и тёплый, будто под поверхностью горел невидимый огонь.

Первой исчезла собака. Она ушла на берег вечером и не вернулась. Утром на причале женщина нашла только ошейник — кожаный, с медными заклёпками, покрытый тиной, пахнувшей гнилыми водорослями. Собака не лаяла ночью. Она вообще не издала ни звука, будто вода взяла её молча. Ночью сквозь шум волн пробивался плеск вёсел. Размеренный, тяжёлый, как удары сердца. Она выходила на крыльцо — озеро было пустым, чёрным, гладким, как зеркало. Но плеск не прекращался. Соседняя деревня утонула полвека назад, когда подняли уровень воды. Люди ушли, а дома остались. Говорят, по ночам рыбаки видят под водой огни — жёлтые, дрожащие, похожие на свечи в церкви.

На третий день из крана в ванной потекла чёрная жидкость. Не вода, не нефть — что-то густое, вязкое, с запахом железа и прелых цветов. Она вызвала сантехника, но трубы оказались чистыми. Жидкость текла сама по себе, оставляя на белой эмали узоры, похожие на лица. Она оттирала их губкой, но к утру они появлялись снова — те же глаза, те же открытые рты. В полночь она проснулась от холода. Ноги были мокрыми, хотя она не вставала с кровати. На полу — от порога до кровати — тянулись влажные следы. Кто-то вышел из озера и ждал, пока она заснёт. Следы вели к её постели и обрывались у края — будто он стоял здесь, наклонившись, и смотрел на неё спящую.

Она попыталась уехать на рассвете. Села в машину, повернула ключ зажигания. Дорога, ведущая к трассе, исчезла — вместо асфальта была вода. Зеркальная гладь озера теперь лежала там, где ещё вчера был грунт и гравий. Она поехала в другую сторону — та же вода. Дом оказался на острове, которого не было на карте. Шторм начался внезапно. Ветер разбил окно в спальне, и волны дотянулись до кровати. Вода была тёплой, почти горячей, и пахла так же, как та жидкость из крана. Когда она выбежала в коридор, на полу остались отпечатки — не её. Маленькие ладони с перепонками между пальцами. Детские. Много. Они вели из озера в дом, из дома в подвал, из подвала — ниоткуда. Она закрылась в кладовке, прижавшись спиной к мешкам с картошкой. В стакане с водой, который она оставила на полке, начали подниматься пузыри — хотя вода была комнатной температуры. На дне шевелились тени, тонкие, длинные, извивающиеся, как водяные змеи. Одна из них коснулась стекла изнутри — и стакан треснул. А потом — стук в дверь. Не в окно, не в стену, в дверь кладовки... Изнутри. Такой тихий, настойчивый, с паузами между ударами — будто кто-то учился стучать.

— Родная, открой! — голос был её матери, что утонула десять лет назад, пытаясь спасти дочь, под которой треснул лёд. Хотя...

— Тут очень холодно! Впусти меня!

Она замерла. Голос звучал правильно — те же интонации, та же дрожь в конце фраз. Но мать никогда не называла её «родная». Мать говорила «дочка».

— Открой, пожалуйста. Я боюсь одна...

Она медленно, словно загипнотизированная, потянулась к ручке двери и та распахнулась. На пороге стояла мать — мокрая, с водорослями в волосах, с кожей цвета рыбьего брюха. Но глаза у неё были чужие, пустые. В них не было ни узнавания, ни просьбы, ни страха, — только ожидание.

А потом мать улыбнулась. Слишком широко. Слишком страшно... Из рта потекла вода, и вместе с ней — хриплый, булькающий смех. Сотни рук потянулись из темноты за её спиной

— холодных, скользких, с длинными пальцами и обломанными ногтями. Они обхватили её за талию, за запястья, за лодыжки. Потянули вперёд, к двери, к озеру, которое теперь было везде.

Последнее, что она увидела, прежде чем вода сомкнулась над головой, — огни затопленной церкви на дне. Они мерцали тускло, как свечи на отпевании. Внутри, за истлевшими стенами, стояли люди в довоенной одежде. Они молча смотрели на неё и ждали.

Эпилог

— Здесь мы будем счастливы! — красивая пара, прижавшись друг к другу, любовалась своим новым домом на берегу озера, чьи воды, несмотря на сильный ветер, оставались неподвижными.

Осколок четвёртый. Тропа

Он свернул с тропы, чтобы сократить путь. Навигатор показывал прямую линию через лес — всего два километра вместо пяти по дороге. Лес встретил его тишиной. Не той, когда птицы поют далеко, а той, когда они не поют вовсе. Воздух будто проглатывал каждый звук — ни ветра, ни треска веток, ни собственного дыхания, которое почему-то не отражалось от деревьев. Стволы постепенно теряли кору снизу вверх. Сначала он не придал этому значения — подумал, болезнь какая-то. Но потом заметил, что под корой не древесина. Бледная кожа с синими прожилками, пульсирующими в такт его шагам. Он остановился — прожилки замерли. Он сделал шаг — они снова запульсировали. Лес дышал им. На часах застыло ровно 3:15. Он проверил телефон, наручные часы, даже компас на ремне рюкзака — везде одно и то же. Солнце уже кренилось к закату, тени вытягивались, но время не двигалось. Тени, кстати, тоже вели себя странно — они не просто лежали на земле, они цеплялись за его лодыжки. Тонкие, серые, холодные, как чужие пальцы.

Внезапно он вышел на поляну. Трава росла идеальными кругами — ровными, будто вычерченными циркулем. В центре лежал его рюкзак. Тот самый, который он сбросил ещё утром, потому что ныла спина. Он подошёл, потрогал — рюкзак был его. Те же потёртости, та же сломанная молния. Но внутри оказалось то, чего он не клал: чужая ветровка, пачка сигарет, которую он не курит, и детский рисунок — солнце, дом, человечек с палками-руками. Подпись корявыми буквами: «Папе». Но... У него же нет детей! Неужели кто-то нашёл?..

Ночь он решил переждать в палатке. Усталость была липкой, неестественной — будто он нёс на плечах невидимый груз. Заснул мгновенно, но сон был пустым — ни образов, ни звуков, только чернота. Проснулся от света. Ветви над палаткой сомкнулись, превратившись в плотный купол. Сквозь ткань просачивалось свечение — не лунное, не солнечное, а какое-то болезненное, грязно-жёлтое. Он выглянул наружу. Луна висела низко, неестественно низко, и смотрела на него, как глаз — круглый, немигающий, с тёмным пятном вместо зрачка. На рассвете он развёл костёр, чтобы согреться. Пепелище от прошлого кострища уже было — чужое, старое. Но на нём он нашёл отпечатки босых ног. Своих. Он узнал их по форме — второй палец чуть длиннее большого, это у него с детства. Но отпечатки были втрое крупнее его ступни, а вместо ногтей — следы когтей; глубокие, будто кто-то стоял и топтался на одном месте очень долго и смотрел на него.

Ручей, который вчера был пресным, сегодня пах медью. Он присел попить — вода отдавала железом, горьким и тягучим, как кровь. На мелководье плавали пряди волос. Он поднял одну — его цвет, его жесткость, даже его запах. Шампунь, которым он мыл голову вчера утром. Вода донесла их быстрее, чем он сам дошёл до ручья. Телефон показал сорок семь вызовов от самого себя. Не от пропущенных — от исходящих. Его номер звонил ему же. Он открыл историю — последний вызов длился девять с половиной часов; как раз столько, сколько он спал в палатке. Он нажал «прослушать» и динамик захрипел, а потом он услышал собственный голос, что говорил не словами, а звуками — хрипами, всхлипами, редкими выдохами, будто задыхался в тесной коробке.

На седьмой день он вышел к дороге. Асфальт был старым, в рытвинах, но это была дорога. Он почти засмеялся от облегчения. А потом увидел, что вместо машин по ней идут люди. Их было много. Десятки. И все они были им. Те же куртки, те же рюкзаки, та же небритость на подбородке. Они шли медленно, молча, глядя прямо перед собой. А когда поравнялись с ним, остановились. Каждый поднял руку и указал пальцем в чашу — туда, откуда он пришёл. Он обернулся — тропы больше не было. Вместо неё — зеркальная стена, уходящая вверх, в бесконечность. В стене отражались все его двойники. Но не те, что шли по дороге, — другие.

Те, кто стоял у него за спиной. Сотни, тысячи его копий, и у каждого в руке нож. Они поднесли лезвия к горлу синхронно, как по команде. Он хотел закричать — и не услышал собственного голоса. Только эхо от тысяч зеркальных губ, повторяющих его беззвучный крик.

Эпилог

— Что у вас случилось? — спросил уставший полицейский у испуганной женщины.

— Муж пропал. Три дня назад ушёл в лес и не вернулся.

— Загулял, может?

— Да что вы! Он у меня не такой! И вот ещё что...

Она показала майору телефон с сообщениями от супруга: «Они вокруг! Они... Это я! Боюсь. Берегись!» — и дальше шли странные значки.

— И последнее его местоположение совсем недалеко от вашего отделения. Вы обязаны принять заявление и объявить розыск!

Майор недовольно поморщился, размышляя о том, какие все стали нынче умные и всячески подкованные. Взяв фуражку, он вышел из кабинета. Женщина семенила за ним.

— Хм, это всё меняет, — его голос неувовимо изменился. А когда он обернулся, женщина невольно ахнула — перед ней стоял... муж?!

Она попыталась убежать, но ноги уже были оплетены корнями.

— Не надо было вам приезжать. Плохо это, — существо достало нож.

Последнее, что увидела женщина, — за спиной чудовища словно ниоткуда взялась зеркальная стена, изнутри которой отчаянно колотился её муж.

Осколок пятый. Книга теней

Он нашёл её в подвале библиотеки, куда ему разрешили спуститься только потому, что он был «своим» — аспирант, диплом, знакомый с заведующей. Потрёпанный фолиант лежал в дальнем углу, придавленный грудой более новых книг, будто его специально прятали. Замок на обложке напоминал сплетение костей — тонких, высушенных, с неестественно длинными фалангами. А сама обложка была слишком мягкой для обычной кожи. Слишком тёплой. Он открыл книгу на первой странице. Чернила, которыми было написано его имя, испарились при свете настольной лампы — прямо на глазах, оставляя только запах гари и лёгкое шипение. Имя исчезло. Осталась только бумага — старая, желтоватая, с рваными краями. Ночью он проснулся от шороха. Буквы переползали с листа на стены — медленно, как муравьи, складываясь в предложения. Он включил свет — они замерли. Выключил — снова задвигались. Он прочитал одно из предложений, написанное кривым, дрожащим почерком: «Ты уже прочитал это однажды. Ты не помнишь». Сердце заколотилось быстрее. Он перечитал — фраза изменилась: «Ты не прочитаешь это дважды». И тогда он вспомнил. Давно, в детстве, он нашёл на чердаке бабушкиного дома такую же книгу — или не книгу, а её обломок, несколько страниц, склеенных чем-то тёмным и липким. Он не умел тогда читать, но буквы сами складывались в слова, когда он проводил по ним пальцем. Бабушка вырвала страницы у него из рук, сожгла в печи и заставила трижды перекреститься на иконы. А перед сном прошептала: «Ты не помнишь, внучек, но ты уже открывал её. В прошлой жизни. И не дочитал. Теперь она будет приходить, пока не дочитаешь. Или пока ты не станешь её частью». Он забыл. До сегодняшней ночи.

Он вспомнил и другое, — бабушка тогда, перед сном, достала из-под кровати старый, перетянутый ремнём блокнот и прочитала ему шёпотом, не открывая глаз: «Эта книга не хранит знания, внучек. Она хранит недочитанное. Каждый, кто открыл её и не дошёл до конца, оставляет в ней частицу себя — страх, надежду, последнюю мысль. А книга растёт. Ей нужны новые страницы. И новые руки, чтобы их перелистывать. Ты не дочитал в прошлый раз — значит, ты уже должен ей страницу. Свою». Бабушка тогда заплакала, но не объяснила — почему. Теперь он понял: она знала, что книга вернётся. И что в следующий раз он будет не читателем, а материалом.

К утру все часы в доме показывали 4:04. Электронные, механические, даже песочные — везде одно и то же. Он проверил телефон — 4:04. Позвонил в справочную — голос на том конце сказал: «Время четыре часа четыре минуты», — и отключился. А в углах комнат множились силуэты без лиц. Они стояли молча, замершие в ожидании — ни вдоха, ни движения. Просто ждали. Он решил сжечь книгу. Вынес во двор, облил бензином, поджёг. Пламя взметнулось высоко, жарко — но книга не горела. Она тлела, шипела, но страницы оставались целыми. А потом пепел внезапно взлетел спиралью, закручиваясь в воздухе, и превратился в стаю воронов. Чёрные, с красными глазами, они бились в окна его дома, выкрикивая его имя. Соседи ничего не слышали. Только он.

Он попытался бежать. Выскочил на улицу, сел в машину, поехал к родителям за город. Но улицы города свернулись в лабиринт и каждый поворот вёл обратно к его дому. Он выходил из машины, шёл пешком — переулки замыкались, аркады выплёвывали его на ту же самую улицу, где стоял его подъезд. Город держал его. На седьмую ночь тени ожили. Они подошли к нему, когда он сидел на кухне с ножом в руке — для защиты. Тени взяли его за запястья, мягко, но неумолимо. Они водили его пальцами по стенам, выводя даты. Три даты. Три варианта его смерти: в постели, в машине, в чужой драке. Он не знал, какая из них настоящая, но тени не ответили. Они просто закончили писать и отступили в углы.

Когда пришла полночь, книга снова лежала на столе. Открытая на чистой странице. Он не приносил её обратно — она вернулась сама. На белую бумагу капала его кровь — он не порезался, но кровь шла откуда-то изнутри. Капли собирались в буквы, буквы складывались в чужие воспоминания.

...Он видел себя мальчиком в незнакомой комнате. Видел себя стариком на больничной койке. Видел себя в гробу — собственное лицо, закрытые глаза, восковую кожу... Он закричал. Но звук растворился в тишине, не долетев до собственных ушей. Последнее, что он увидел, — как его отражение в оконном стекле медленно закрыло книгу. Отражение улыбалось.

Эпилог

Библиотекарь долго отказывалась говорить, почему сожгла подвал, где хранились весьма редкие издания. Лишь перед смертью прошептала: «Она голодная». На её столе нашли список — двенадцать имён. Последнее было её собственным. А под ним свежая надпись: «Спасибо за новую главу»...

Осколок шестой. Кукла

Кукла лежала в мусорном контейнере между дохлой крысой и рваным матрацем. Лиза заглянула туда, потому что искала пустые бутылки — мать платила по пять рублей за штуку, если был недопитый остаток, она выпивала сама. Девочка увидела фарфоровую руку, торчащую из-под газеты, и почему-то полезла. Не из жалости. Из любопытства. Кукла была страшной: треснутая щека, левый глаз запал внутрь, платье в мазуте. Но когда Лиза взяла её, фарфор оказался тёплым. Как живой. Как мамина рука, когда мама ещё не пила. Мать пришла под вечер. От неё пахло дешёвым портвейном и весной — прелыми листьями и сырой землёй. Она рухнула на диван, не снимая сапог, и уставилась на куклу, которую Лиза посадила на подоконник.

— Что это?

— Моя. Нашла.

— Выкинь. У нас денег на игрушки нет.

— Это не игрушка. Это подруга.

Мать хотела сказать что-то ещё, но уснула, не договорив. Лиза взяла куклу, легла на пол рядом с диваном — её кровать была продавлена так, что спина болела по утрам, — и прижала фарфор к груди. Кукла была тёплой. Тёплой, как человек, которому не всё равно. На вторую ночь мать не пришла. Лиза не волновалась — так бывало. Она сидела на кухне, ела хлеб с маслом, и кукла сидела рядом — Лиза поставила её на табурет, лицом к столу. Когда девочка откусывала, кукла наклоняла голову — так показалось. Лиза подумала: сквозняк. Но окна были закрыты. На третью ночь мать вернулась. Не одна. С ней был дядя Витя из соседнего подъезда — сапожник, вечно пьяный, с жёлтыми ногтями и руками, пахнущими резиной и мочой. Мать шаталась, дядя Витя её поддерживал. Лиза сидела на полу в коридоре, обняв куклу.

— Спи, — сказала мать, не глядя на ребёнка. — У нас дела.

Дядя Витя посмотрел на Лизу, потом на куклу. Усмехнулся.

— Страшная какая. Глаза как живые.

— Она живая, — сказала Лиза.

Дядя Витя хотел что-то ответить, но мать потянула его в спальню и закрыла дверь. Лиза слышала сквозь тонкую стену — кровать скрипела, мать смеялась, потом дядя Витя сказал что-то неразборчивое, потом мать заплакала. Лиза прижала куклу к уху, чтобы не слышать. Ночью, когда в спальне затихло, кукла заговорила.

— Ты одна, — сказала она. Голос был тонким, как комариный писк, но каждое слово — чётким, как у диктора по телевизору. Лиза не испугалась. Она ждала этого.

— Я привыкла.

— Не надо привыкать. Хочешь, я сделаю так, чтобы она тебя любила?

— Как?

— Просто скажи «да».

Лиза подумала. Вспомнила, как мать целовала её в лоб, когда была трезвая. Как пахло от матери хлебом и сиренью, а не перегаром. Как она обещала бросить пить — и не бросала.

— Да, — сказала Лиза.

Утром мать не проснулась. Она лежала на кровати с открытыми глазами и смотрела в потолок. Дядя Витя сидел на полу в трусах, тряс её за плечо и повторял: «Тётъ Клав, тётъ Клав, ты чё?» Мать не отвечала. Она улыбалась. Широко, до ушей, так, как никогда не улыбалась при Лизе. И глаза у неё были стеклянные. Как у куклы. «Скорая» приехала через час. Фельдшер сказал, что инсульт. Соседка из тридцать пятой квартиры забрала Лизу к себе, посадила на табурет, дала чай с баранками. Лиза держала куклу в руках. Кукла была тёплой.

— Баб Тань, а моя мама умрёт?

— Не знаю, деточка. Врачи сказали — тяжёлая.

— А можно я к ней схожу? В больницу?

— Завтра. Сегодня уже поздно.

Ночью, когда баба Таня уснула, Лиза вылезла в окно. Первый этаж, не страшно. Прошла три квартала до больницы — забор, охранник спит в будке, дыра в сетке за мусорными баками, старая, ещё с прошлого года, когда они с Пашкой лазили смотреть на трупы в морге (Пашка потом обоссался, а Лиза нет). Палата на втором этаже, окно не закрыто. Лиза влезла по водосточной трубе — руки в цементной пыли, коленки разбиты, но куклу не уронила. Мать лежала на койке, привязанная к капельнице, глаза её закрыты. Лиза села на стул, положила куклу на тумбочку.

— Мам. Я пришла.

Мать не ответила.

— Мам, ты меня слышишь?

Кукла повернула голову. Лиза увидела это краем глаза — плавно, беззвучно, как у совы. Она не испугалась. Она ждала.

— Она не хочет тебя слышать, — сказала кукла. — Она хочет забыть, что ты есть.

— Неправда.

— Правда. Она тебя родила, потому что надо было, потом пожалела. Ты ей мешаешь. Даже не так — ТЫ всегда мешала.

— Заткнись!

— Без тебя она бы вышла замуж, не пила бы. Без тебя она была бы счастлива.

Лиза сжала кулаки. Слез не было — она давно не плакала. Плакать было бессмысленно.

— Что мне делать?

— Сделай её счастливой, — сказала кукла. — Так, как я умею. Пусть она станет такой, как я. Тёплой. Послушной. И... Вечно молодой.

— Как это?

— Возьми её за руку. И скажи «спасибо».

Лиза взяла мать за руку. Ладонь была холодной и влажной — как рыба, которую только что вынули из воды. Лиза поднесла куклу к маминому лицу. Глаза у матери были закрыты, но веки дрожали — она не спала, она притворялась. Лиза поняла это сразу. Поняла, что мать слышала каждое слово куклы. И не открыла глаза.

— Спасибо, — сказала Лиза.

Мать дёрнулась. Всё тело — разом, как от удара током, потом женщина расслабилась. Кожа на её лице стала гладкой — белой, холодной. Глаза открылись... Стекланные... И очень красивые.

Лиза посмотрела на куклу. Кукла улыбалась.

— Теперь она никогда не уйдёт, — сказала кукла. — Теперь вы будете вместе. Навсегда.

Лиза улыбнулась в ответ. Погладила мать по волосам. Волосы были жёсткими, как кукольный парик, но это ничего. Главное — мать не будет больше пить, не будет плакать. Не будет приводить дядь Вить. Будет сидеть и смотреть на Лизу красивыми стекланными глазами и улыбаться той улыбкой, которую Лиза так долго хотела увидеть. Утром медсестра нашла в палате двоих. Мать — на кровати, с открытыми глазами, без пульса, но с улыбкой. Дочь — на стуле, с куклой в руках, тоже улыбающаяся. Обе живые. Обе неживые. Обе — как куклы.

Эпилог

Через месяц Лизу отдали в детский дом. Она не плакала, не сопротивлялась, не просилась домой. Она сидела на кровати, обняв куклу, и смотрела в окно. Воспитатели говорили, что

девочка странная — не играет с другими, не разговаривает, только шепчет что-то кукле по ночам.

— Это у неё воображение, — сказал психолог. — Защитный механизм.

Через месяц воспитательница зашла в спальню ночью и увидела, что Лиза стоит посреди комнаты, а вокруг неё на кроватях сидят другие девочки. Все — с открытыми глазами, с гладкими, белыми лицами, с улыбками до ушей. И все смотрят на куклу, которая лежит на подоконнике и греется в лунном свете. Воспитательница хотела закричать, но кукла посмотрела на неё — и женщина забыла, зачем пришла. Легла на свободную кровать, закрыла глаза и улыбнулась.

Теперь у куклы было много дочек. И всем им было тепло...

Осколок седьмой. Ночной рейс

Самолёт рейса 731 опустился в зону турбулентности через сорок минут после взлёта. Марк пристегнулся, откинулся в кресле и закрыл глаза — впереди было восемь часов до Лос-Анджелеса, спина болела ещё на земле, и единственным желанием было провалиться в сон и очнуться уже на месте. Тряска была несильной, но какой-то неправильной — не привычное дребезжание, а глубокая вибрация, будто самолёт летел не по воздуху, а по чему-то плотному и вязкому. Когда тряска закончилась, Марк открыл глаза и понял, что за иллюминатором нет ничего. Не ночное небо — ночью видны звёзды, луна, хотя бы намёк на глубину. Здесь была чернота. Плотная, бархатная, без единой точки света. Он тронул соседку за плечо — девушка лет двадцати пяти, в наушниках, с планшетом на коленях. Она сняла наушники, посмотрела на него спокойно, даже слишком спокойно.

— Извините, вы не знаете, мы где?

— Над океаном, наверное.

— А почему звёзд не видно?

Девушка пожала плечами и снова надела наушники. Её равнодушие было странным — не усталым, а каким-то выключенным, будто она смотрела на мир через стекло и не могла понять, что происходит снаружи. Марк выглянул в проход. Пассажиры сидели неподвижно — слишком неподвижно для людей в эконом-классе. Никто не чесался, не менял позу, не поправлял подушку. Даже спящие иногда шевелятся. Здесь не шевелился никто. Он посмотрел на часы — электронные, на запястье, показывали 23:47. Он перевёл взгляд на экран в спинке впереди стоящего кресла — там тоже было 23:47. Он наклонился к соседке, тронул её за плечо ещё раз.

— Извините, у вас на телефоне сколько время?

Девушка нехотя достала телефон, глянула на экран.

— Двадцать три сорок семь.

— Уже полчаса назад было двадцать три сорок семь, — сказал Марк. Девушка посмотрела на него, потом на свой телефон, потом снова на него.

— У меня сел телефон, — сказала она. — Он не работает. Просто показывает последнее время перед тем, как выключился. Она убрала телефон в карман и отвернулась к окну. Марк хотел сказать что-то ещё, но в этот момент из громкоговорителя раздался голос пилота — неестественно высокий, почти детский.

— Уважаемые пассажиры, в связи с временными техническими неполадками наше прибытие задерживается. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах.

Марк работал в авиации десять лет — техником, не пилотом, — и слышал десятки голосов командиров кораблей. Никогда ни один пилот не говорил так. Не то чтобы испуганно — испуг он бы узнал. Скорее отстранённо, как человек, который уже не до конца уверен, что он здесь и сейчас. В проходе показалась стюардесса с тележкой. Марк поднял руку.

— Извините, что происходит?

Стюардесса улыбнулась пластиковой улыбкой, которой улыбаются, когда не хотят отвечать.

— Всё в порядке, просто небольшие неполадки.

— А почему за окном ничего не видно?

— Ночь, — сказала стюардесса. — Облака. Она покатила тележку дальше, и Марк заметил, что на тележке нет ни еды, ни напитков — пустые полки, только на нижнем ярусе лежит детская пижама, розовая, с зайчиками, сложенная аккуратно, как на витрине. Марк хотел окликнуть стюардессу, но в этот момент девушка в наушниках вдруг резко повернулась к нему.

— Вы тоже это видите? — спросила она. Голос у неё был нормальный — живой, чуть испуганный.

— Что именно?

— Что мы не падаем.

Марк не понял вопроса, но что-то в нём щёлкнуло. Он посмотрел в иллюминатор — чернота, ничего нового. Потом на стакан с водой на откидном столике — вода стояла ровно, не колыхалась. Самолёт летел без турбулентности, без вибрации, без единого намёка на движение.

— Меня Ася зовут, — сказала девушка. — Я лечу в Лос-Анджелес к сестре. А вы?

— Марк. Тоже в Лос-Анджелес.

— Вы заметили, что никто не разговаривает?

Он оглянулся. В салоне было тихо — не просто тихо, а неестественно, мёртво. Никто не кашлял, не шептался, не храпел, не шуршал пакетами с едой. Пассажиры сидели, уставившись в экраны или в окна, и не двигались. Даже те, кто смотрел фильмы, делали это без звука в наушниках, с пустыми, немигающими глазами.

— Мы единственные, кто разговаривает, — сказала Ася. — Я прошла в туалет, пока вы спали. Там в конце салона пустые ряды. Десять рядов. Ни одного человека.

— Может, самолёт неполный?

— Посадка была полная. Я помню. Я стояла в очереди, сзади были люди, впереди были люди. А теперь — нет.

Женщина через два ряда от них вдруг закричала. Крик был резкий, как выстрел. Марк вскочил, расстегнул ремень, подбежал к ней. Женщина тыкала пальцем в стекло и что-то бормотала. Он посмотрел в иллюминатор — и увидел, что в стекле отражается не её лицо. Там было чужое лицо, перекошенное, с вырванным глазом и рваной раной вместо рта. Оно смотрело на женщину, и губы у него шевелились, будто оно говорило, но звука не было.

— Это не я! — кричала женщина. — Это не я!

Ася подбежала с другой стороны, взяла женщину за руку. Та дёрнулась, замолчала, уставилась на Асю.

— Кто вы? — прошептала женщина.

— Пассажирка, как вы. Всё в порядке.

— Это не в порядке, — сказала женщина. — Я видела, как мой муж умер. Три года назад. Он сейчас был в том окне.

Марк посмотрел в иллюминатор — теперь там отражалось его собственное лицо, усталое, с небритой щетиной. Чужое лицо исчезло. Женщину успокоили, усадили на место, Ася пообещала посидеть с ней рядом. Марк пошёл в туалет — не потому что хотел, а потому что нужно было сделать хоть что-то, чтобы не сидеть на месте. Туалетная кабинка в хвосте была заперта. Он постучал — никто не ответил. Постучал сильнее — тишина. Он позвал стюардессу, та подошла с ключом, открыла дверь. Внутри никого не было. На полу — лужа тёмной жидкости, густой и блестящей, как масло. И детская пижама. Розовая, с зайчиками, сложенная аккуратно на крышке унитаза. Такая же, как на тележке.

— У нас есть дети на борту? — спросил Марк. Стюардесса молчала. Её лицо было белым, как бумага.

— У нас нет детей на борту, — сказала она наконец. — Вообще. Ни одного.

Марк вернулся в салон и начал считать ряды. Тридцать два ряда, по шесть кресел — сто девяносто два места. Он прошёл от хвоста к носу, заглядывая в лица. Везде были взрослые. Ни одного ребёнка. Но на полу, между креслами, он заметил игрушки. Плюшевый мишка на третьем ряду. Машинка на девятом. Кукла на пятнадцатом, с оторванной головой, аккуратно пристёгнутая ремнём к сиденью.

— Марк, — Ася догнала его в проходе. — Я нашла кое-что.

Она держала в руке посадочный талон. Марк взял, прочитал: «Ася Ветрова, рейс 730, место 14А».

— Это мой билет, — сказала Ася. — Я села не в тот самолёт. Я должна была лететь рейсом 730. А села в 731. Она показала на талоне время вылета — 22:45. На их посадочных было напечатано 22:45, но на табло в аэропорту горело другое — Марк не запомнил какое, но теперь понял, что тоже не проверял. Просто пошёл за толпой.

— Значит, и я сел не в тот, — сказал он.

— Мы сели не в тот самолёт, — сказала Ася. — Но где тогда тот самолёт?

Они пошли к кабине пилотов. Дверь была закрыта. Марк постучал — никто не ответил. Дёрнул ручку — дверь поддалась, но за ней не было кабины. Там была стена. Обычная белая стена, как в больнице, без дверей, без окон, без намёка на то, что за ней может быть что-то ещё. Ася тронула стену рукой — та была холодной и влажной, как кафель в душевой после того, как кто-то долго мылся горячей водой.

— Нас не должно здесь быть, — сказала она.

Марк обернулся. В проходе стояла стюардесса. Та самая, с тележкой. Но теперь он разглядел её лицо — и у него похолодело внутри. У стюардессы было лицо Аси. Те же глаза, те же скулы, та же родинка над губой. Только улыбка была чужой — слишком широкой, слишком спокойной. Марк перевёл взгляд на Асю. Ася смотрела на стюардессу так же, как он, — с ужасом и непониманием.

— Это моё лицо, — прошептала Ася.

Стюардесса наклонила голову, будто прислушиваясь к себе изнутри, и улыбнулась шире.

— Рейс 730 задерживается, — сказала она голосом Аси. Чистым, звонким, без единой чужой ноты. — А пассажиры рейса 731 могут занять свои места. Влёт через никогда. Марк посмотрел на бейдж у неё на груди. Там было написано: «Ася Ветрова, бортпроводник».

— Это не я, — сказала Ася, пятясь. — Это не я, это не моё лицо, это не моё имя. Марк схватил её за руку, не дал убежать.

— Смотри на меня, — сказал он. — Ты — это ты. А она — не ты.

Стюардесса шагнула к ним, и тележка покатила сама собой, беззвучно, как по маслу. На нижней полке лежала детская пижама — теперь уже не одна, а стопкой. И поверх пижамы — два посадочных талона. На одном было имя Марка, на другом — Аси. Оба на рейс 731.

— Вы уже прошли регистрацию, — сказала стюардесса. — Обратного пути нет. Самолёт, на который вы хотели сесть, улетел без вас. Он улетел вчера. Или завтра. Или никогда. Это не важно.

Она развернулась и пошла к хвосту, где мигала красная лампа аварийного выхода. Марк рванул за ней, но ноги стали тяжёлыми, как после долгой пробежки. Ася шла сзади, тяжело дыша.

— Марк, там дверь открыта.

— Вижу.

Они дошли до аварийного выхода. Дверь была распахнута. За ней не было неба, не было облаков, не было земли. Там был зал ожидания. Пустой, с погасшими табло, с рядами кресел, на которых никого не было, в зале стояла тишина — такая же, как в салоне. И в этой тишине работало только одно табло. На нём горело: «Рейс 730 — задерживается». Марк шагнул в дверь, и за его спиной в громкоговорителе ожил голос — тот самый, детский, высокий, но теперь в нём отчётливо слышались ноты Асиного голоса:

— Уважаемые пассажиры рейса 000, конечная остановка — нигде. Пожалуйста, покиньте борт через аварийный выход. Ваше время истекло.

Марк обернулся. Салон самолёта был пуст. Все кресла — пусты. Все пассажиры исчезли. Только на полу, в проходе, лежал розовый посадочный талон на имя Аси Ветровой. Марк нагнулся, поднял его и вышел в зал ожидания. Дверь за ним закрылась. На двери была таб-

личка: «Аварийный выход. Открывать только на земле». Он посмотрел на свои руки — в одной держал талон Аси, в другой — свой собственный. На его билете больше не было номера рейса. Только дата — вчерашняя. Марк поднял голову. В зале ожидания сидели люди, всё те же пассажиры. Все смотрели на него. И среди них — Ася. Она улыбалась и махала рукой. Марк сделал шаг к ней — и в этот момент погас свет. Тишина. Потом голос стюардессы — тот же, Асин, но теперь без всяких интонаций, как у автоответчика:

— Рейс 731 прибыл в пункт назначения. Просим пассажиров покинуть борт через аварийный выход. Ваш багаж вылетел раньше. Ваши тела — позже.

Эпилог

На табло в аэропорту замигал рейс 731. Статус: «Прибыл». Пассажиров не было. Только на стойке регистрации лежал розовый посадочный талон на имя Аси Ветровой. Утром сотрудники нашли его и выбросили. К вечеру он снова лежал на том же месте. Его выбрасывали ещё три раза. На четвёртый оставили. Теперь талон лежит за стойкой, в ящике с надписью «Находки». Иногда по ночам, когда зал вылета пустеет, на нём проступают новые буквы. Сейчас там написано: «Рейс 731. Посадка продолжается. Свободных мест нет».

Осколок восьмой. Детская считалка

Старый дом на Октябрьской продавался дёшево. Риелтор не скрывал причину: в девяносто третьем здесь пропали трое детей, игравших в прятки. Их не нашли — ни в подвале, ни на чердаке, ни во дворе, ни в колодце за домом. Осталась только одна сандалия в углу подвала, за старой колонкой, а внутри сандалии — волосы. Длинные, светлые, не детские. Молодые хозяева, Игорь и Наташа, купили дом через аукцион. Им было плевать на историю — они были из другого города, не суеверные, а цена устраивала их настолько, что они даже не стали торговаться. Их дочери Кате исполнилось семь, и она сразу сказала, что дом ей нравится.

— Здесь есть девочки, с которыми можно играть, — сказала Катя, обводя рукой пустую гостиную.

Родители переглянулись, но ничего не сказали — у детей богатое воображение. В первую же неделю, разбирая подвал, Игорь нашёл обугленную записную книжку. Страницы склеились от времени и сажи, но на первой странице детским почерком, корявым и торопливым, было выведено: «Раз, два, три — не дыши, четыре, пять — он опять, шесть, семь, восемь — кто не спросит, девять, десять — закрой дверцу». Дальше листы были пустыми или обугленными до черноты. Игорь показал книжку участковому, тот пожал плечами.

— Детские шалости, — сказал участковый и ушёл.

Книжку положили в ящик комода и забыли. На вторую ночь Катя проснулась от того, что кто-то шептал за её дверью. Голос был её собственный — Катя узнала бы его из тысячи, потому что сама с собой часто разговаривала, когда оставалась одна. Но голос был старше. Намного. Будто она сама, но через двадцать лет, стояла за дверью и шептала считалку, которой никто не учил её в детстве. Катя не испугалась. Она села на кровати и спросила:

— Ты кто?

Шёпот прекратился. Через минуту дверь приоткрылась — сама, без скрипа — и в щели Катя увидела пустой коридор. Но на полу, на коврик, лежал мокрый след. Босой, детский, грязный. След вёл не от двери — к двери. Будто кто-то вошёл в комнату, постоял у кровати, посмотрел на спящую девочку, а потом вышел обратно. На третью ночь Катя зашептала во сне. Наташа услышала через стенку и заглянула в комнату дочери. Катя лежала с открытыми глазами и повторяла:

— Раз, два, три — не дыши, четыре, пять — он опять...

Губы у неё двигались ровно, как у заводной куклы, а глаза смотрели в потолок, не мигая. Наташа разбудила её. Катя села, посмотрела на мать и улыбнулась.

— Мам, а ты знаешь, что будет после десяти?

— Что?

— Дверца откроется, — сказала Катя и сразу уснула.

Утром на стене в коридоре появились пять отпечатков детских ладоней. Они были расположены странно — на разной высоте, будто их оставил кто-то, кто шёл по стене, а не по полу. Родители подумали, что Катя испачкала руки, но отпечатки были слишком высоко — выше роста девочки на полметра. И пальцы на них были длиннее, чем у ребёнка. Игорь стёр их влажной тряпкой. На следующее утро отпечатков было десять. Они покрывали стену от пола до потолка, и среди них, в самом центре, отчётливо выделялась маленькая ладошка, прижатая к обоям с внутренней стороны — будто кто-то пытался вылезти из стены наружу, но не смог. Наташа хотела вызвать священника. Игорь сказал, что это бред. Катя смотрела на отпечатки и улыбалась.

— Они играют, — сказала она. — Они всегда играют. Им скучно одним.

В пятницу Игорь задержался на работе. Наташа осталась с Катей одна. Вечером они смотрели мультики, пили чай с печеньем, и Катя была обычным ребёнком — смеялась, бол-

тала, просила включить другую серию. Наташа почти успокоилась. В одиннадцать она уложила дочь спать, поцеловала в лоб и выключила свет. Через час она услышала из комнаты Кати тихий, ритмичный шёпот. Она подошла к двери, прислушалась. Катя снова шептала считалку, но теперь не одна. Второй голос — тонкий, сухой, как шелест страниц — подхватывал через строчку. Потом третий. Потом четвёртый. Наташа открыла дверь. Катя сидела на кровати, обняв колени. Вокруг неё, на полу, были нарисованы мелом круги — ровные, как циркулем вычерченные. В каждом круге стоял детский след. Босой, мокрый, грязный. Три следа. Те самые, из девяносто третьего.

— Они хотят, чтобы я с ними играла, — сказала Катя, не поднимая головы. — Мам, можно?

Наташа схватила дочь на руки и выбежала из комнаты. Она не заметила, что следы в кругах стали глубже — будто кто-то наступил на них свежими ногами. Игорь вернулся в час ночи. Наташа сидела на кухне с Катей на коленях, пила валерьянку и тряслась. Игорь осмотрел комнату дочери — никаких следов, никаких кругов. Только на стене, под обоями, что-то шуршало. Он приложил ухо и услышал шёпот. Множество голосов, детских и не очень, повторяли одно и то же:

— Нашёл, нашёл, нашёл...

Игорь отклеил кусок обоев. Под ними была стена. На стене — сотни отпечатков детских ладоней. Самые старые были почти чёрными, вдавнившимися в штукатурку. Самые свежие — влажными, будто их только что прижали к стене. В центре же был отпечаток маленькой руки, прижатой с той стороны. Пальцы шевелились. Игорь отшатнулся, упал на пол. Наташа закричала. Катя спокойно слезла с её колен, подошла к стене и прижала свою ладонь к тому отпечатку.

— Я здесь, — сказала она. — Я пришла играть.

В тот же миг отпечатки на стене начали светиться — тусклым, грязно-жёлтым светом, как старые лампы в подъезде. Катя улыбнулась и шагнула в стену. Не ударилась — прошла сквозь, как сквозь воду. Игорь бросился к ней, но стена стала твёрдой. Он бил по ней кулаками, пока костяшки не превратились в мясо. Наташа звонила в полицию, в скорую, в пожарную охрану. Приехали через сорок минут. Обыскали дом — нигде. Сняли обои в комнате Кати — под ними была стена.

Обычная, бетонная, без отпечатков, без следов, без шёпота. Игорь показывал на неё, кричал, что его дочь забрала стена. Полицейские переглянулись и вызвали психиатра. Катю искали три дня. Облазили весь подвал, чердак, двор, колодец, соседние дома. Нашли только один след — в углу подвала, за старой колонкой. Маленькую сандалию, правую, с оторванной пряжкой. Внутри сандалии были волосы. Длинные, светлые, Катины. Игорь и Наташа уехали из дома через неделю. Продали его за полцены первому же покупателю. В договоре купли-продажи не указали, что в стенах живёт кто-то, кто забирает детей, не указали, потому что не поверили бы. А если бы поверили — всё равно продали. Страх оказался сильнее совести.

Эпилог

Через год в дом заехала очередная семья — женщина с сыном. Мальчика звали Лёня, ему было пять. В первый же день он нашёл в саду старую юлу — деревянную, с облупившейся краской. Он принёс её в дом, поставил на пол и крутанул. Юла завертелась и запела, — тоненько, дребезжаще, как шарманка. И вместе с этой песней Лёня услышал голоса. Много голосов, детских, которые шептали в такт:

— Раз, два, три — не дыши, четыре, пять — он опять...

Лёня не испугался. Он сел на пол, обнял колени и начал подпевать. Мать услышала через стенку и заглянула в комнату. Сын сидел в кругу, нарисованном мелом. Она не рисовала этот круг. Она вообще не покупала мел. Лёня поднял на неё глаза и улыбнулся.

— Мам, тут девочки есть. Они хотят играть в прятки. Я согласился. Теперь я всегда буду водить.

Осколок девятый. Тени на фотоплёнке

Олег купил старую «Лейку» на блошином рынке в субботу утром. Он не собирался ничего покупать — просто бродил между рядами, разглядывал чужой хлам, вспоминал, как в молодости сам просиживал часы в тёмной комнате, вылавливая пинцетом мокрые отпечатки из проявителя. Тогда это было искусство. Потом появились цифровые камеры, потом телефоны, потом — тишина. Он забросил фотографию лет пятнадцать назад, продал всё оборудование и даже не пожалел. Но когда увидел на прилавке старую «Лейку» с потёртым кожухом и мутноватым объективом, что-то щёлкнуло в груди. Продавец — старик с жёлтыми ногтями и водянистыми глазами — сидел на перевёрнутом ящике и курил одну за другой.

— Сколько? — спросил Олег.

Старик посмотрел на него, потом на камеру, потом снова на него.

— Возьми, — сказал он. — Сам потом заплатишь.

Олег хотел уточнить, но старик уже отвернулся и начал перекладывать какие-то железки. Олег пожал плечами, сунул «Лейку» в рюкзак и ушёл. Дома он долго крутил её в руках, проверял затвор, выдержку, диафрагму. Механизм работал идеально — как будто аппарат сделали вчера, а не шестьдесят лет назад. Олег купил плёнку, зарядил и пошёл гулять по двору.

Снимал кота, снимал качели, снимал старуху у подъезда с авоськой. Вечером отнёс плёнку в лабораторию — единственную, которая ещё работала в городе. Через два дня забрал отпечатки. Кот получился отлично. Качели — чуть смазано, но атмосферно. Старуха — как живая. И только на одном снимке, на заднем плане, там, где должен был быть забор и кусты сирени, была тень. Высокая, тонкая, без чётких очертаний. Олег подумал — брак плёнки, засветка. Убрал снимки в конверт и забыл. На следующей неделе он снимал парк. Деревья, пруд, уток, девушку на скамейке с книжкой. Проявил — и снова тень. Теперь она стояла не на заднем плане, а ближе, метрах в десяти от объекта съёмки, прижавшись к стволу старого дуба. Олег увеличил фрагмент. У тени не было лица, но было что-то вроде плеч и головы, наклонённой чуть набок, будто она разглядывала его с того берега пруда. На третьей плёнке Олег снимал свою квартиру — хотел проверить, как «Лейка» работает в помещении. Сделал кадр на кухне, кадр в коридоре, кадр в спальне. Проявил — и замер. На снимке спальни тень сидела на стуле в углу. На том самом стуле, где Олег вешал свою рубашку. Тень была чётче, плотнее, чем на первых двух плёнках. И поза у неё была человеческой — ноги скрещены, руки на коленях. Как у человека, который пришёл в гости и ждёт, пока хозяин заметит.

Олег переснял спальню на телефон. Никакой тени. Он проверил объектив — чистый, без пятен. Он проверил механизм — работает как часы. Он позвонил знакомому фотографу, тот сказал, что «Лейки» иногда дают блики из-за старой оптики, и посоветовал не париться. Олег заклеил объектив изолентой и убрал камеру в шкаф. Ночью он проснулся от шелчка. Звук был тихим, сухим, как удар костяшками по стеклу. Олег сел на кровати, включил ночник. «Лейка» лежала на столе, объектив смотрел прямо на него. Изолента была содрана и валялась рядом аккуратным колечком. Олег взял камеру, проверил счётчик кадров. Плёнка прокрутилась на один кадр. Он вытащил плёнку, убрал в тумбочку и поклялся больше не прикасаться к аппарату, но утром он забыл про клятву. Достал плёнку, отнёс в лабораторию. Когда забрал отпечатки, руки дрожали. На новом снимке была его спальня, снятая ночью при свете ночника. Олег лежал на кровати, отвернувшись к стене, а тень стояла над ним. Стояла, наклонившись, и её невидимое лицо находилось в сантиметре от его затылка.

Олег пересчитал снимки. Их было тридцать шесть — целая плёнка. Все кадры были разными. На первом тень входила в комнату. На пятом стояла у двери. На десятом сидела на стуле. На двадцатом лежала на диване. На тридцатом сидела на кровати. На тридцать пятом — склонилась над его спящим телом. На тридцать шестом — положила руку ему на горло. Ладонь

у тени была. Пальцы — тоже. Пять длинных, тонких теней на его шее. Олег хотел разорвать снимки, но не смог. Не потому что жалел — потому что пальцы не слушались. Они дрожали, но не сжимались. Он стоял посреди кухни, сжимая в одной руке «Лейку», в другой — стопку фотографий, и не мог пошевелиться. А потом аппарат щёлкнул сам. Олег вздрогнул, выронил камеру. Она упала на пол, объектив треснул. Олег поднял её, заглянул в видоискатель — там была чернота. Не мутная, не тёмно-серая, а абсолютная, без единого просвета. Он нажал на спуск — затвор сработал, но механизм заклинило. Олег решил разобрать камеру — он достал отвёртку, снял верхнюю крышку, потом нижнюю. Внутри не было шестерёнок, не было пружин, не было привычного набора железок, которые делают фотографию. Внутри были спрессованные негативы. Сотни, может быть, тысячи. Они заполняли корпус плотно, как консервы в банке. Олег подцепил верхний ногтем, вытащил. На негативе был мужчина — незнакомый, в очках, с усами, он стоял на фоне книжного шкафа и улыбался. В углу кадра — тень. Тонкая, высокая, с наклонённой головой. Олег вытащил следующий. Женщина с короткой стрижкой, сидит на лавочке, кормит голубей. За её спиной — тень. Следующий. Ребёнок с воздушным шариком, тень стоит вплотную, положив руку ему на плечо. Следующий. Подросток с гитарой, тень сидит на траве у его ног. Олег вытаскивал и вытаскивал, и лица менялись, эпохи менялись — по одежде, по причёскам, по качеству плёнки. Семидесятые годы, восьмидесятые, девяностые. Все эти люди держали в руках «Лейку». Все эти люди снимали, проявляли, видели тень. И ни один не избавился от аппарата.

Олег достал последний негатив. На нём был он сам. Снимок сделан сегодня ночью. Олег лежал на кровати, лицом к объективу, с открытыми глазами. Он не помнил, чтобы просыпался. Не помнил, чтобы смотрел в объектив. На снимке его глаза были пустыми — не закрытыми, а именно пустыми, как у куклы. А за его спиной стояла тень и у тени теперь было лицо; размытое, нечёткое, но узнаваемое — ЕГО собственное лицо. Олег уронил негатив, отшатнулся к стене. «Лейка» лежала на столе, разобранная, с вывалившимися внутренностями. Он схватил молоток, замахнулся, чтобы разбить её в щепки. И замер — из объектива на него смотрела тень. Не из видоискателя, нет, — из объектива. Олег опустил молоток. Взял камеру, собрал, зарядил новую плёнку. Нажал на спуск. Щелчок. Вспышка. И тишина.

Эпилог

Через месяц «Лейка» снова лежала на блошином рынке. Старик с жёлтыми ногтями раскладывал товар, когда к нему подошёл молодой парень.

— Сколько за аппарат?

Старик посмотрел на парня долго, внимательно, потом перевёл взгляд на камеру.

— Возьми, — сказал он. — Сам потом заплатишь.

Парень улыбнулся, сунул «Лейку» в рюкзак и ушёл, даже не торгуясь. Старик достал из кармана фотографию — потрёпанную, замусоленную, с загнутыми краями. На ней был мужчина с пустыми глазами и тенью за спиной. У тени было лицо мужчины. Старик перевернул снимок. На обороте было написано одно слово: «Следующий». Он сунул фото обратно в карман и закурил. Парень уже скрылся за углом, и старик знал, что они больше не увидятся. Камера сама найдёт нового хозяина. Она всегда находила.

Осколок десятый. Звонок из 1999 года

Анна переехала в новую квартиру в начале осени. Квартира была старой, с высокими потолками и запахом нафталина, который не выветривался даже после двух недель проветривания. Разбирая коробки, она наткнулась на ящик, который забыли предыдущие жильцы — картонная коробка из-под обуви, перетянутая скотчем. Анна хотела выбросить её не глядя, но скотч уже отклеился сам, и из коробки выглядывал чёрный угол. Она открыла. Внутри лежал старый кнопочный телефон — «кирпич», из девяностых, с потёртым корпусом и выпцветшими кнопками. Анна взяла его, покрутила в руках. На экране загорелась зелёная подсветка — телефон работал. В списке контактов был только один номер, сохранённый как «Я». Анна хотела выбросить телефон в мусор, но вместо этого почему-то нажала вызов. Гудки были длинными, тяжёлыми, как в старых фильмах про войну — один гудок, два, три, четыре. Потом щелчок, и голос. Голос был её собственным, но с помехами, будто запись прокручивали на старой, изношенной плёнке.

— Ты помнишь девяносто девятый?

Анна замерла.

— Ты помнишь искру?

Она бросила трубку. Телефон разрядился, экран погас. Анна положила его в ящик стола и забыла до ночи. Ночью телефон зазвонил сам. Анна не брала трубку — она лежала в кровати, слушала, как «кирпич» дребезжит в ящике стола, и не двигалась. Звонок прекратился, через минуту раздался щелчок — сработал автоответчик, который она не настраивала. Из ящика донёсся голос. Снова её собственный, но теперь с каким-то дефектом, будто говорящий находился в замкнутом пространстве, где воздух кончался.

— Ты выбежала. Ты не позвонила. Ты никому не сказала. Ты просто смотрела, как горит дом. А потом ушла.

Анна вскочила, открыла ящик, вытащила телефон. Экран был чёрным, но голос продолжал идти из динамика.

— Ты помнишь только искру, да? Маленькую, оранжевую, которая упала на половик. А что было после? Ты не помнишь. Потому что не хочешь помнить.

Анна нажала на кнопку сброса, но телефон не реагировал. Она вытащила аккумулятор — голос оборвался. Анна стояла посреди кухни, сжимая в руке разобранный телефон, и дрожала. Искру она помнила. Маленькую, оранжевую, упавшую на половик. А после — ничего. Белое пятно, как на старой фотографии, которая слишком долго лежала на солнце. На следующее утро Анна поехала в свой старый город. Она выросла в трёх часах езды от Москвы, в маленьком райцентре, который сейчас почти вымер. Её дом стоял на окраине, у самого леса. Когда Анна подъехала, она увидела пустырь, заросший крапивой и кипреем. Дома не было. Вместо него — фундамент, залитый бетоном, и столбы от крыльца, на которых кто-то повесил старый ржавый замок. Анна обошла пустырь, но не нашла ничего — ни таблички, ни креста, ни намёка на то, что здесь когда-то жили люди. Она зашла в местную администрацию, подняла архивы. Чиновница с усталым лицом и стоптанными туфлями долго шуршала папками, потом выложила на стол подшивку газет за 1999 год.

— Ваш? — спросила она, ткнув пальцем в заметку.

Анна прочитала. «В ночь на 14 октября в частном доме на улице Заречной произошёл пожар. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет». Анна перечитала три раза. Она жила на Заречной. Она помнила искру. И больше ничего.

— И никто не погиб? — спросила Анна.

Чиновница пожала плечами.

— Дело старое. Но вроде как нет. Бумаги, наверное, уже сгорели. Или в архив сдали. Можете сами поискать.

Анна не стала искать. Она вернулась в Москву, но телефон больше не выбрасывала. Он лежал на тумбочке, и каждую ночь в 3:15 раздавался звонок. Анна не брала трубку, но автоответчик записывал сообщения. Голос — её собственный — становился всё настойчивее.

— Ты была там. Ты видела искру. Ты видела, как огонь перекинулся на шторы. Ты видела, как они проснулись. И ты выбежала. Ты даже не крикнула.

Анна затыкала уши, но голос звучал в голове. На четвёртую ночь она взяла трубку.

— Что я сделала? — прошептала она.

Тишина. Потом голос — спокойный, почти ласковый.

— Ты ничего не сделала. Это самое страшное. Ты стояла на пороге и смотрела. А потом ушла. И не вернулась.

Анна заплакала. Она не помнила этого, но тело помнило — холодный воздух на босых ногах, запах дыма... Она бежала по улице, пока не упала, а когда встала — уже ничего не помнила. Телефон замолчал. Анна сидела в темноте, сжимая «кирпич» в руке. Она хотела разбить его, но не смогла. Не потому что не было сил — потому что экран снова загорелся. На дисплее горел один контакт: «Я». Анна нажала вызов.

— Кто ты? — спросила она.

Гудки. Потом голос — маленькой девочки, тонкий и испуганный.

— Ты знаешь.

Анна вспомнила дверь. Тяжёлую, деревянную, с щеколдой. И свои руки, которые закрыли эту щеколду. И... Снова пробел в памяти. У неё началась дикая головная боль.

Анна уронила телефон, отошла к стене и села на пол. «Кирпич» лежал на ковре, экран горел зелёным. На дисплее мигал контакт «Я». Анна смотрела на него и не двигалась. Она не знала, кто там, в трубке. Не знала, кто остался в том доме. Она знала только одно: дверь была закрыта снаружи. И она помнила, чьи руки это сделали.

Эпилог

Через три месяца Анну признали пропавшей без вести. Соседи забили тревогу, когда её почтовый ящик переполнился, а дверь никто не открывал. Полиция вскрыла квартиру — внутри было чисто, никаких следов борьбы, никакой крови, никакой записки. На тумбочке лежал старый кнопочный телефон, разряженный в ноль. Экспертиза показала, что он не включался несколько лет. Телефон изъяли и утилизировали. Квартиру выставили на торги. Через полгода её купила молодая пара с маленькой дочкой. При переезде они нашли в ящике стола старый телефон. Дочка взяла его, нажала кнопку. Экран загорелся. В списке контактов был один номер — «Я». Девочка нажала вызов и прижала трубку к уху. Мать спросила:

— Кто там?

Девочка улыбнулась.

— Мама, там девочка плачет. Она говорит, что её заперли в подвале в девяносто девятом. И что она очень долго ждала, когда кто-нибудь откроет дверь.

Осколок одиннадцатый. Странный лифт

Денис жил в новостройке, которую сдали три года назад. Квартиру они покупали с женой — выбирали планировку, спорили, какую положить плитку в ванной и прочие, милые сердцу новобрачных, мелочи. Теперь же Денис жил один. Он не снимал обручальное кольцо, не убирал её вещи, не переставлял её чашку на кухне. Он просто существовал — ходил на работу, возвращался, пил, смотрел в потолок, не спал. Жена «ушла». Так он говорил соседям. «Ушла». Не «умерла», не «погибла», не «убилась». Ушла. И всё. Два года он не спал нормально, пил всё больше, худел, бледнел. Соседи не лезли — мало ли, человек горюет. А Денис горевал. Но не так, как все думали. Он не помнил лица жены в деталях — только запах, сладкий, чуть с горчинкой, с ноткой апельсина и ещё чего-то неуловимого, что было только у неё. И тишину. Тишину, которая наступила в тот день, когда... Он не помнил, что было до этой тишины, и не помнил, что было после. И запах, который выветрился с её подушки, с её одежды, с его пальцев. А теперь — вернулся. В тот день Денис возвращался домой поздно. Он был пьян, но не шатался — пил давно, организм привык. В подъезде было пусто, мужчина нажал кнопку вызова лифта. Двери открылись. И тут он замер. На полу лифта стояла ваза — хрустальная, старинная, с идеально ровными гранями, которые ловили тусклый свет лампы. В вазе — розы. Свежайшие, с тяжёлыми каплями росы на лепестках, с гибкими зелёными стеблями, которые, казалось, только что срезали в чьём-то тайном саду. К вазе была прикреплена бирка. На бирке — «С годовщиной». Запах ударил в лицо, и Денис замер. Он забыл его за два года и сделал это намеренно — зарыл в самый дальний угол памяти, завалил работой, водкой, бессонницей, но теперь запах вернулся. Тот самый... Денис закрыл глаза, и перед ним встала картинка — не лицо, не тело, а ощущение. Он стоял на кухне, было тихо; так тихо, что заложило уши, а потом он пошёл мыть руки, в мыльной пене блеснуло кольцо. Он снял его, положил в карман, немного подумал, надел снова и с тех пор не снимал. Мужчина не помнил, что было до той тишины. Он помнил только тишину, и запах, который вернулся.

Денис не тронул вазу, вышел на улицу, закурил. Простоял полчаса, глядя на окна своей квартиры, потом вернулся — лифт был пуст. На следующее утро он спустился в подъезд — никакой вазы. Денис решил, что померещилось. Через неделю — снова ваза и те же розы, тот же запах. Денис снова не тронул, а стоял и смотрел, как на панели лифта медленно тает время. Через пять минут двери закрылись сами, и лифт уехал наверх, а Денис пошёл пешком на пятнадцатый этаж. Он перестал бояться и начал ждать. На третью неделю Денис не выдержал, зашёл в лифт, взял вазу, прижал к груди. Стекло было холодным — не как хрусталь, а как лёд, который не тает даже в горячей руке. Розы пахли так сильно, что у него закружилась голова. Он поднялся на свой этаж, занёс вазу в квартиру, поставил на стол — на то место, где раньше стояла её чашка. Розы не вяли. Дни шли, а они стояли свежими, будто их только что срезали. Ваза оставалась ледяной. Денис перестал пить. Перестал есть. Он сидел на кухне и смотрел на розы. Иногда ему казалось, что они шевелятся — поворачивают бутоны в его сторону, будто следят. Однажды утром он нащупал в кармане куртки что-то твёрдое. Кольцо. Своё — но... своё было на пальце. Тяжёлое, золотое, с тонкой гравировкой внутри. Денис поднёс к свету: «Денис +...» — второе имя было стёрто. Не выцарапано, не срезано — стёрто, будто кто-то водил пальцем по металлу годы, пока буквы не исчезли. Денис надел кольцо на безымянный палец правой руки. Оно село идеально. Как будто всегда было его. В ту же ночь Денис услышал звонок лифта, вышел в коридор, нажал кнопку — двери открылись, внутри стояла женщина в фате, белое кружево падало на плечи, закрывало лицо. Но фигура — тонкая, хрупкая, с чуть скошенными плечами — была Её. Денис не видел лица, но знал, как она стоит, как держит руки, как наклоняет голову. Женщина протянула ладонь, и на её пальце блеснуло такое же

кольцо — тяжёлое, золотое, с той же стёртой гравировкой. Она заговорила. Голос был её — тот самый, который он не слышал два года, который снился ему каждую ночь, но всегда без слов.

— Ты обещал быть со мной вечно, — сказала женщина. — Вечность ещё не кончилась.

Денис шагнул в лифт. Двери закрылись. Он не смотрел на панель, но чувствовал, как кабина уходит вниз — глубже первого этажа, глубже подвала, глубже фундамента. На табло загорелась кнопка «-1». Её не было раньше. Она появилась сама — новая, блестящая, на том месте, где всегда был гладкий пластик. Лифт остановился. Двери открылись. За ними была темнота, но не та, когда гаснет свет, а та, когда свет никогда не горел. Абсолютная, плотная, как вода на глубине. Из темноты пахло розами, Денис шагнул в неё и двери за ним закрылись. Денис смотрел на женщину в фате. Она не шевелилась, не дышала — по крайней мере, он не слышал дыхания. Только запах, тот самый. И в голове всплыло — не картинка, не звук, а чувство. Чувство, что он уже был здесь. Уже стоял в лифте, уже смотрел на неё, уже знал, что будет дальше, но не мог вспомнить. Потому что память — это не то, что мы помним, а то, что мы решили забыть. А он решил забыть всё. Кроме запаха. И тишины. Тишины, которая наступила в тот день, когда...

Эпилог

Каждое четырнадцатое февраля в лифте появляется ваза с розами. Большинство жильцов её не видят — только чувствуют запах, сладкий и тяжёлый, который держится несколько минут, а потом исчезает. Они пожимают плечами, говорят «проводка греет», «у кого-то духи», и забывают до следующего года. Но тот, кто в горе — тот, у кого на душе такая трещина, что в неё может пролезть что угодно, — видит вазу. Хрустальную, старинную, с розами, от которых кружится голова. Он может забрать, а может не забирать. Если не заберёт — ваза исчезнет через пять минут, а запах выветрится. Если заберёт — через некоторое время найдёт в кармане то, что потерял. То, что было у него в тот день, когда его жизнь сломалась. А ровно через неделю лифт приедет за ним.

В новостройке, которой уже семь лет, всё ещё работает тот же лифт. Его ни разу не ломали. Механик говорит, что в идеальном состоянии. Только лампочка иногда мигает, когда проезжаешь четвёртый этаж. И пахнет розами. Раз в год. Три года назад, когда дом только заселили, женщина из шестнадцатой квартиры пропала, её муж написал заявление. Приезжали полицейские, опрашивали соседей, осматривали квартиру и ничего не нашли. Дело закрыли через месяц — «без вести пропавшая». Через год мужчина из тридцать четвёртой пропал. Жена сказала, что он уехал в командировку, но чемодан остался в прихожей. Полиция приезжала, поднимала документы, проверяла билеты — ничего. Дело закрыли. Ещё через год — девушка с пятого этажа, жившая одна. Соседи забили тревогу, когда почтовый ящик переполнился. Полиция вскрыла квартиру — чисто, никаких следов. Ключи нашли в лифте на следующий день. Дело открыто до сих пор. Но никто уже не верит, что её найдут. Сейчас в доме тихо. Лифт работает исправно. Только иногда, если прижаться ухом к стене шахты в подвале, можно услышать голоса. Тихие, неразборчивые. Будто кто-то говорит на другом конце длинного коридора. Или зовёт по имени. Или прощается. А потом — тишина. До следующего февраля.

Осколок двенадцатый. Тот, кто стучится в стену

Клава переехала в «хрущевку» на окраине весной. Квартирка — клетушка: кухня, комната, сосед за стеной — дед Матвей, тихий, как тень. «Стены тут тонкие, доченька, — предупредила баба Нюра из пятой квартиры, — всё слышно. Особенно по ночам». Клава махнула рукой: ну и что? Шум города ей снился. Первое время было тихо. Потом... стали слышны стуки. Не громкие. Не в дверь. В стену. Ровно в полночь. Тук... тук-тук... тук. Как будто кто-то осторожно, но настойчиво стучит костяшками пальцев по штукатурке. Ровно три паузы, потом — три стука подряд. И тишина. Клава стучала в ответ — мол, слышу. Стуки прекращались. Но на следующую ночь — снова. Тук... тук-тук... тук. Не выдержав, утром она зашла в гости к деду Матвею. Старик открыл, глаза мутные, старческие.

— Это не я, дочка, — прошептал он, оглядываясь в свою темную прихожую. — Я в девять вечера — как убитый. Это... оно. Стучится. Уже лет двадцать. С той поры, как сын мой... пропал.

Стуки стали громче. Настойчивее. ТУК... ТУК-ТУК... ТУК! Клава не спала, прижав ладонь к холодной стене. Она чувствовала вибрацию. Неужели дед? Но он ходил тихо, как мышка, днем. Как призрак. Однажды ночью она не выдержала и, схватив молоток (первое, что под руку попало) — ударила по месту стука со всей дури. Штукатурка осыпалась. Тишина повисла густая, липкая. Потом... из дырки в стене, медленно, как паучья лапа, выбился клочок длинных седых волос. Клава заделала дыру цементом и стуки прекратились. Навсегда.

Через неделю деда Матвея не стало. Он ушёл тихо, во сне, словно чему-то улыбаясь. Убирая его скудные пожитки, Клава нашла за шкафом старую, затёртую до дыр фотографию: молодой мужчина, улыбка во весь рот. На обороте корявая надпись: «Сыночек, Антошка. 1983». В тот же день баба Нюра, провожая Клаву взглядом, бросила в спину:

— Антошка-то... он стенку ту проломил, пьяный, когда с мамкой ссорился. Упал, да так и не встал. А стучался потом... к отцу. Проститься хотел, видать. Да не смог пробиться. Пока ты... не помогла.

Эпилог

Теперь Клава живет тихо. Иногда ночью она подходит к той стене, гладит шершавую заплатку. И кажется ей, что сквозь толщу цемента и времени доносится не стук, а легкий, легкий вздох. Как облегчение. Или прощание, наконец-то законченное. И в комнате пахнет не пылью, а... сиренью.

Осколок тринадцатый. Часы, которые шли назад

Главный вокзал города. Мрамор, золото, гул толпы. И над всем этим — Царь-часы в центральном зале. Огромные, бронзовые, с маятником, похожим на чёрное солнце. Им сто лет, если не больше. Ходят без сбоев. Точность — их религия. Так было до того дня, как сюда устроилась Лида. Она любила порядок — всё-таки, дежурная по вокзалу. Каждое утро она сверяла карманные часы с Царь-часами. Тик-так, тик-так. Голос времени. Но в тот вторник маятник качнулся медленнее. Стрелки на циферблате, показывавшие ровно 12:04, вдруг дрогнули и поползли назад. 12:03... 12:02... 12:01... 12:00... 11:59... Девушка замерла и протёрла глаза. «Глюк света», — подумала она.

Но через минуту стрелки резко догнали утекшее время и встали на 12:01. Лида выдохнула. Наверное, показалось. Но на следующий день — снова стрелки пошли назад. На пять минут. В зале стало тихо. Люди, спешащие на поезда, вдруг застывали, глазели вверх, будто гипнотизированные. Один старик уронил чемодан.

— Они... вспоминают, — пробормотал он Лиде, но тут же смешался с толпой и исчез из её поля зрения. А потом стали пропадать люди. Не просто опаздывать. Исчезать. Молодой солдат, бегущий к «Сапсану», девочка с воздушным шаром, отвлекшаяся на продавца сувениров, пожилая пара, державшаяся за руки у выхода к платформе №3... Их искали, пересматривали камеры. На записях они подходили к часам, смотрели вверх... и просто растворялись в толпе, которая тут же их «проглатывала». Больше их никто не видел.

Лида полезла в архив. Пожелтевшие газеты шептали страшное:

«1941 год. Бомбёжка вокзала. Прямое попадание в центральный зал в 12:05. 87 погибших. Часы остановились ровно на 12:04... Запущены вновь лишь в 1961-м». Фотография руин. И среди них — почти целый циферблат, покрытый сажей, стрелки застыли на 12:04. Всё сошлось. Полдень. 12:04 и пять минут назад. Туда, где ещё нет взрыва, где ещё живы те, кто должен был погибнуть.

Лида поняла: часы не просто идут назад. Они спасают. Выдёргивают душу из тела за секунду до небытия и отправляют в... куда? В параллельный 1941-й? В вечное ожидание на перроне несуществующего поезда? Она смотрела на бронзовый циферблат с ужасом и жадностью. Там был её дед, пропавший без вести в первые дни войны. Он уходил с этого вокзала...

Она решилась. Ровно в 12:04 она встала под часами. Маятник качнулся тяжело, медленнее обычного. Воздух затрепетал, как нагретый асфальт. Стрелки дрогнули. Поехали назад. 12:03... 12:02... Лида подняла голову, ловя взгляд часового «ока». Она мысленно кричала: «Возьми меня к нему! К деду!» Вокруг замелькали тени — люди в плащах 40-х, пиджаках 50-х, дублёнках 70-х. Призраки пропавших? Внезапно чья-то рука грубо рванула её за плечо. Старый дежурный, Николай Петрович, служивший тут очень давно. Его глаза были полны ужаса.

— Не смотри! — прошипел он, заслоняя ей вид часов. — Они не назад отмеряют! Они собирают! Тех, кто не успел уехать тогда! Чтобы довести... до своего часа! Ты хочешь в тот поезд? В поезд 24 июня 1941 года? Он ушёл. И больше не придёт. А эти... — он махнул рукой в сторону теней, — они вечные пассажиры. Никогда не сойдут.

Стрелки рывком вернулись на 12:00. Гул вокзала ворвался обратно. Лида стояла, дрожа. Николай Петрович сунул ей в руку смятый билет. Настоящий. Названия городов, правда, уже не читались. Только дата — 24 июня 1941. И в каком вагоне место. «Плацкарт. Вагон 7, место 38». Билет её деда.

Эпилог

Лида уволилась. Но каждый год 24 июня она приходит на тот самый вокзал. Садится на скамейку у платформы №3 и кладёт на рельсы красную гвоздику. Поезда там больше не

ходят. Говорят, рельсы там покосились — будто по ним проехал тяжёлый состав, которого нет в расписании. А Царь-часы идут точно. Только иногда, ровно в 12:04, их маятник замирает на секунду, и в тишине кажется, будто слышен далёкий гудок паровоза, чувствуется запах угля... И сирени. Лида смотрит на часы и улыбается, — она знает: где-то там её дед едет в своём июне 1941-го. Вечно молодой... Вечно спешащий навстречу рассвету, который для него никогда не наступит.

Осколок четырнадцатый. Лодка, которая помнила

Городской пруд. Посреди — островок с чахлыми ивами. У самого камышистого берега, в тени полуразрушенной кирпичной трубы — остатка какой-то старой фабрики, — жила лодка. «Аннушка», выцветшая синяя краска, дырявое днище, вёсла — трухлявые обломки. Её сто раз хотели вытащить, сжечь, утопить как следует. Бесполезно. Утром она снова тут, прибитая к одному и тому же месту, будто привязанная невидимой верёвкой. Рыбаки шептались: «Она к мёртвым плывёт. Или мёртвые в ней... домой просятся». Сергей не верил в сказки. Он был практиком: бригадир в ЖЭКе, руки в мозолях, голова в сметах на ремонт труб. Но «Аннушка» достала. Её упорное возвращение было вызовом. Нарушением порядка. «Бред сивой кобылы», — бурчал он, когда в десятый раз вытаскивал вонючую посудину тросом и трактором, отвозил на свалку у промзоны, а наутро синеватый призрак снова качался у трубы. Однажды поздним майским вечером Сергей задержался у пруда — проверял теплотрассу. И услышал плач. Тонкий, детский. Он шёл с острова. Темнело. Плач становился отчаяннее. Сергей оглянулся — ни души. Только «Аннушка» у берега, будто ждала. Старый страх, тот, ещё детский, скребнул под ложечкой. Но крик «Мама!» пересилил. Он прыгнул в лодку. Дерево скрипнуло под ним, но не пошло ко дну. Вёсел не было. Сергей оттолкнулся руками от воды — и «Аннушка» поплыла. Сама. Тихо, беззвучно рассекая маслянистую гладь, прямо к острову. Плач стих. На ветвях ивы сидел маленький мальчик. Босой, в светлой рубашке, лицо в тени.

— Ты как сюда попал? — крикнул Сергей.

Мальчик молчал. Сергей причалил.

— Идём, выведу.

Он протянул руку. Мальчик шагнул к краю острова... и исчез. Не упал — растворился в воздухе. Сергей оцепенел. Вдруг лодка дёрнулась. Её потянуло обратно — сильно, неумолимо. Сергей схватился за ветки, лодка вырвалась. «Аннушка» понеслась к своему берегу, к трубе. А в воде, там, где только что был мальчик, всплыли пузыри. Большие, жирные. И запах — не тины. Гари. Горячего металла. И ещё — сладковатый, как палёный сахар. Дома, трясясь, Сергей полез на сайт архива старых газет. И нашёл. Июнь 1978 года. «Трагедия на городском пруду. В результате прорыва раскалённого пара из теплотрассы, проходившей под дном у острова, погиб ребёнок. Семилетний Антон Шумилов катался на лодке с дедом. Волной деда выбросило на берег, лодку с ребёнком отнесло к эпицентру... Тело найдено не было». На пожелтевшей фотографии улыбался мальчишка. Тот самый. Оказывается, «Аннушка» была его лодкой. Она не могла уплыть. Она была привязана к месту гибели. И каждый раз, когда её увозили, она возвращалась — плыла за своим мальчиком, который навсегда остался там, в кипящем мгновении между жизнью и смертью. И плакал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.